

ГЛАВА III. О грамматологии как позитивной науке

При каких условиях возможна грамматология? Основное условие - в том, что ее вызывает к жизни логоцентризм. Однако это условие возможности превращается в условие невозможности. Ведь оно способно поколебать и само понятие науки. Графематика или грамматография не должны были бы притворяться науками: их цель должна была бы лежать вне круга *грамматологического знания*.

Не отваживаясь следовать этой губительной необходимости и временно подчиняясь традиционным нормам научности, повторим наш вопрос: при каких условиях возможна грамматология?

При условии, что мы знаем, что такое письмо и как упорядочивается все многоголосие этого понятия. Где возникает письмо? Когда оно возникает? Где и как след, письмо как таковое, общий корень речи и письма усыхают в "письмо" в обыденном смысле слова? Где и когда осуществляется переход от одного письма к другому, от письма вообще - к письму в узком смысле слова, от следа - к графии, от одной графической системы - к другой, а в области графического кода от одного графического дискурса - к другому и пр.?

Где и как возникает ?.. Это вопрос о (перво)начале. Хотя ведь (перво)начала, т. е. простого (перво)начала, не существует: размышление о следе должно было бы уже научить нас тому, что вопрос о (перво)на-чале приносит с собой всю метафизику наличия. Не отваживаясь здесь следовать этой губительной необходимости, но продолжая задавать вопрос о (перво)начале, мы должны разграничить в нем два уровня. Словами "где" и "когда" могут начинаться эмпирические вопросы: в каких местах и в какие моменты письмо впервые возникает в истории и в мире? Ответом на эти вопросы должен быть поиск и исследование фактов: это — история в обыденном смысле слова, которой и поныне занимаются почти все археологи, эпиграфисты, исследователи доисторических времен, изучающие различные виды письменности, распространенные в мире.

Однако вопрос о (перво)начале сразу же смешивается с вопросом о сущности. Можно сказать, что он предполагает постановку онто-феноменологической проблемы в строгом смысле слова. Требуется выяснить, что есть письмо, чтобы ставить вопрос о том, где и когда оно начинается, уже понимая, о чем идет речь и в чем состоит суть вопроса. Что такое письмо? Как узнать, что перед нами - письмо? Какого рода уверенность сущностного порядка должна направлять эмпирическое исследование? При чем направлять его *de jure*, поскольку существует некая необходимость *de facto*, в силу которой эмпирическое исследование соскальзывает в рефлексии о сущности [94]. Она не может обойтись без "примеров", не может начать - как того требовала бы логика трансцендентальной

рефлексии - с некоего de jure удостоверенного начала (commencement), и сама эта невозможность указывает на вычеркнутую (перво)начальность (l'originalité) следа, т. е. на корни письма. Размышление о следе показало, что он не может оставаться в плену онтофеноменологического вопроса о сущности. След есть ничто, он не есть сущее, он выходит за рамки вопроса: что это есть? - и при случае делает его возможным. В данном случае нельзя полагаться на оппозицию de facto и de jure, ибо она применима только к вопросу: что это есть? - в каких бы формах - метафизических, онтологических, трансцендентальных - он ни ставился. Не отваживаясь следовать этой гибельной необходимости в вопросе о прото-вопросе: что это есть? - останемся в поле грамматологического знания.

Письмо целиком исторично, а потому одновременно и естественно и удивительно, что научный интерес к письму всегда облекался в форму истории письма. Однако наука требовала также, чтобы чистое описание фактов (допустим, что такое выражение осмысленно) направлялось той или иной теорией письма.

Алгебра: таинства и прозрачность

Нередко не знают (или же недооценивают) тот факт, что XVIII век в своем стремлении учесть оба эти требования стал переломным. По вполне глубоким и серьезным причинам XIX век оставил нам тяжкое наследие иллюзий и упорного непонимания (méconnaissances), и от этого прежде всего пострадало все то, что относится к теориям знака, созданным в конце XVII и в течение XVIII века [95].

Следовательно, нам нужно заново перечитать то, что дошло до нас в столь запутанном виде. Мадлен В.-Давид - во Франции ее острый ум неизменно одушевлял историческое изучение письма зорким интересом к философской проблематике [96] — собрала в своей ценной работе немало важных документов — свидетельств страстного спора, разгоревшегося в Европе в конце XVII века и продлившегося в течение всего XVIII века. Это слепяще яркий, но непонятый симптом кризиса европейского сознания. Первые замыслы "общей истории письма" (это выражение принадлежит Уорбертону и датируется 1742 годом [97]) возникли в такой обстановке, когда собственно научной мысли приходилось преодолевать как раз то, что побуждало ее к действию: предрассудки отвлеченного умствования и идеологические предубеждения. Научная работа осуществляется этапами, так что задним числом можно восстановить всю ее стратегию. Прежде всего она устраняет "теологический" предрассудок: именно так Фрере некогда характеризовал миф о первоначальном естественном письме, данным людям богом, а Блез де Виженер трактовал древнееврейскую письменность: в своем "Трактате о цифрах или способах тайнописи" (1586) он утверждал, что эти "древнейшие буквы были начертаны собственным перстом господина Бога". Этот тео-логизм, по сути представлявший собой во всех своих формах, явных или скрытых, нечто большее и нечто иное, нежели просто предрассудок, был главным препятствием для всякой грамматологии. Он был несовместим с любой историей письма. И прежде всего это относится к истории письма у тех, кого он поражал слепотой: речь идет о древнееврейском или греческом алфавите. Историческая стихия науки о письме оставалась тем самым как бы невидимой - и прежде всего для тех, кто мог бы осмыслить историю других письменностей. Неудивительно, что необходимость децентрации всегда возникала

тогда, когда достоянием чтения становились (devenir-lisible) западные виды письменности. История алфавита становится возможной лишь после того, как осознается принципиальная множественность систем письма, обладающих своей историей (независимо от того, можем ли мы дать ее научное описание).

Эта первая децентрация сама себя ограничивает. Она уступает место новой центрированности — на той внеисторической почве, которая подобным же образом примиряет логико-философскую точку зрения (логико-философская ослепленность: фонетическое письмо) с теологической точкой зрения [98]. Это так называемый "китайский" предрассудок: все философские проекты всеобщего письма и всеобщего языка, как-то: пазилалия, полиграфия, пазиграфия, - выдвинутые Декартом, а конкретно реализованные А. Кирхером, Уилкинсом [99], Лейбницем и др., побуждали видеть в открытом тогда китайском письме образец философского языка, изъятого из истории. Такова была, во всяком случае, роль китайского письма в проектах Лейбница. С его точки зрения, именно условный, искусственный характер китайского письма, чуждого голосу, отрывает его от истории и обращает к философии.

То философское требование, которым руководствуется Лейбниц, многократно формулировалось и до него. Он следовал прежде всего Декарту. А Декарт в ответе Мерсенну, который послал ему проект (автор его неизвестен) с шестью предложениями относительно универсального языка, сразу же высказал свое недоверие этому проекту [100].

Он с презрением отвергает некоторые предложения как попытку "получить доход от наркотиков", "расхвалить свой товар". К тому же у него "дурное мнение о слове "arsanum": "как только я вижу в каком-то предложении слово "arsanum", у меня немедленно возникает о нем дурное мнение". Возражая против этого проекта, он фактически использует - мы это еще увидим [101] - те доводы, которые потом сформулирует Соссюр:

“ "...неудачное сочетание букв нередко порождает неприятные, невыносимые для слуха звуки: разнообразные механизмы словоизменения, сложившиеся в языковой практике, нужны именно для того, чтобы этого избежать; что же касается вашего автора, то он не сможет устранить этот недостаток в своей всеобщей грамматике для всех народов, ибо то, что легко и приятно для нашего языка, оказывается грубым и невыносимым для немцев, и т. д."

К тому же этот язык потребовал бы от нас выучить "древнейшие слова" всех языков, а это "слишком обременительно".

Правда, их можно передавать и "в письменной форме". Декарт вынужден признать это преимущество:

“ "Что касается древнейших слов, то каждый человек может взять их из своего языка, и это будет не так уж сложно, хотя при этом понять нас смогут лишь наши соотечественники. Если же мы воспользуемся письмом, тогда

тот, кто захочет нас понять, должен будет отыскивать все слова в словаре, и это будет слишком обременительно, чтобы стать повседневным делом... И потому вся польза от этого изобретения, насколько я могу судить, ограничивается письмом: а именно, нужно будет издать толстый словарь на всех тех языках, с которыми мы ищем взаимопонимания, и представить в нем общие знаки всех древнейших слов - так, чтобы они соответствовали не слогам, а смыслу (введя, например, общий знак для *aimer*, *amare* и *philein*); тот, кто раздобыл бы этот словарь и постиг его грамматику, смог бы, переходя от знака к знаку, истолковывать написанное на своем языке. Однако эта система годится лишь для чтения тайн и откровений; впрочем, перебирать все слова в словаре станет лишь бездельник, так что я не вижу в этом большой пользы. Но, быть может, я ошибаюсь".

С глубокой иронией, в которой, пожалуй, больше глубины, чем иронии, Декарт находит для этой возможной ошибки другую причину, нежели недостаток очевидности, внимания или волевой порыв: он видит здесь ошибку чтения. Значимость системы языка или письма не мерится аршином интуиции, ясности или отчетливости идей, очевидностью наличия объекта. Система сама требует *расшифровки*.

“Но, быть может, я ошибаюсь; все равно мне хотелось написать вам все то, что пришло мне в голову по поводу этих шести предложений, которые вы мне прислали — с тем чтобы вы сами, увидев это изобретение, могли сказать, правильно ли я расшифровал его замысел”.

Глубина иронии увлекает автора дальше, чем хотелось бы ему самому. Углубляясь, ирония уходит в подосновы картезианской очевидности.

А после этого, в качестве дополнения и постскриптума, Декарт просто описывает лейбницевский проект. Он видит в нем философский роман: написать такой роман может только философия, которая всецело зависит от этого умения, однако по той же самой причине ей никогда не удастся "найти применение этому языку".

“Изобретение этого языка зависит от истинной философии, поскольку без нее невозможно ни перечислить все человеческие мысли, ни упорядочить их, ни просто отличить их друг от друга, сделав их тем самым ясными и простыми, что, на мой взгляд, является самым главным секретом достижения подлинной науки... Итак, я считаю, что такой язык можно построить, равно как и создать науку, от которой он зависит: с ее помощью крестьяне могли бы судить об истине вещей лучше, чем ныне это делают философы. Однако не надейтесь когда-либо найти ему применение: для этого потребовались бы большие изменения в порядке вещей, весь мир должен был бы стать земным раем, что можно предположить разве что в стране литературного вымысла" [102].

Лейбниц прямо ссылается на это письмо и на тот аналитический принцип, который в нем формулируется. Этот проект предполагает расчленение всего и вся на простые идеи. Это - единственный путь, позволяющий заменить рассуждение исчислением. В этом смысле универсальная характеристика в принципе зависит от философии, однако ее можно строить и не дожидаясь, пока философия достигнет совершенства:

“ Хотя этот язык и зависит от истинной философии, он не зависит от степени ее совершенства. Стало быть, этот язык можно построить, даже если философия еще несовершенна: он будет развиваться по мере развития человеческих наук. А пока он будет нам волшебным помощником - и в использовании того, что нам известно, и в поисках того, чего нам пока не хватает, и в изобретении средств для этого, но особенно — в искоренении противоречий в самих предметах рассуждений. Ведь рассуждать и исчислять — это одно и то же" [103].

Как известно, все это не единственные поправки к декартовской традиции. Аналитизм Декарта опирается на интуицию, тогда как аналитизм Лейбница отсылает нас за пределы очевидности, к порядку, отношению, точке зрения [104].

Характеристика "бережет ум и воображение, пользоваться которыми нужно умело. Вот главная цель этой великой науки, которую я привык называть Характеристикой. Алгебра, или Анализ, составляют лишь небольшую ее часть, поскольку именно опадает слова языкам, буквы — речам, цифры — Арифметике, ноты — Музыке; именно она учит нас, как закрепить наше рассуждение, оставляя на бумаге небольшое количество доступных зрению следов, с тем чтобы вновь исследовать их на досуге; наконец, именно она учит нас, как рассуждать с малыми затратами, используя знаки вместо вещей и тем самым давая свободу воображению" [105].

Несмотря на все различия между проектами универсального языка или письма, выдвинутыми в эту эпоху (в особенности в том, что касается истории и языка [106]), во всех них неизбежно и непреложно использовалось понятие абсолютно простого. Было бы несложно показать, что это понятие всегда отсылает к теологии бесконечности и к логосу или бесконечному божественному разуму [107]. Вот почему лейбницевский проект универсальной характеристики (которая по сути своей не имеет отношения к звуку), вопреки видимости и несмотря на всю его привлекательность для нашей эпохи, ни в чем не нарушает логоцентризма. Напротив, универсальная характеристика, как и ее критика у Гегеля, подтверждает логоцентризм, возникает внутри него и благодаря ему. Здесь мы имеем в виду именно сопричастность этих двух противоположенных движений. В определенную историческую эпоху существовало глубокое единство между теологией бесконечности, логоцентризмом и своего рода техницизмом. Первописьмо - или, иначе, дофонетическое или мета-фонетическое письмо, которое мы пытаемся здесь помыслить, ни в какой мере не означает, что механизм "идет дальше" речи.

Логоцентризм - это этноцентрическая метафизика в изначальном, а не "релятивистском" значении этого слова. Он связан с историей Запада. Хотя Лейбниц ссылается на китайскую

модель в изложении своей Характеристики, эта модель порывает с логоцентризмом лишь по видимости. Дело не только в том, что эта модель дает лишь некое доморощенное представление о китайском письме [108], но и в том, что вслед за похвалами китайскому письму в нем обнаруживаются недочеты и возникает необходимость поправок. Лейбниц считает китайское письмо произвольным и, стало быть, независимым от истории. В свою очередь, он связывает эту произвольность с такой чертой китайского письма, как его нефонетичность. Кажется, будто это письмо было "изобретением глухого" ("Новые Опыты"):

“ "Говорить - это значит подавать членораздельные знаки своей мысли. Писать — это значит делать то же самое линиями, остающимися на бумаге. Соотносить их с голосом необязательно, как показывает китайская иероглифика" ("Opuscules", p. 497).

В другом месте читаем:

“ "Быть может, существуют такие искусственные языки, которые всецело основаны на выборе и полностью произвольны, как это приписывают китайскому языку, а также языкам Георгия Дальгарно и покойного господина Уилкинса, епископа Честерского" [109].

В письме отцу Буве (1703) Лейбниц проводит различие между египетским письмом — доступным простым людям, данным в чувственном восприятии, аллегорическим, и китайским письмом — философским и интеллектуальным:

“ "...китайские иероглифы, быть может, более философичны и, кажется, построены на более интеллектуальных соображениях, связанных с числами, порядком и отношениями; таким образом, мы видим здесь лишь отдельные черты, не стремящиеся к сходству с какими бы то ни было телами".

Впрочем, это не мешает Лейбницу провозгласить возможность такого письма, по отношению к которому китайское письмо было бы лишь черновым наброском:

“ "Этот тип исчисления мог бы одновременно дать нам нечто вроде универсального письма, которое обладало бы преимуществами китайского, поскольку каждый человек понимал бы его в своем собственном языке, и вместе с тем бесконечно превзошло бы китайский, потому что ему можно было бы научиться всего лишь за несколько недель, соотнося между собою знаки сообразно порядку и связям вещей, тогда как у китайцев имеется бесчисленное множество иероглифов сообразно множеству вещей, так что у них вся жизнь уходит на то, чтобы вполне овладеть письмом" [110].

Понятие китайского письма функционировало таким образом как своего рода европейская галлюцинация. И в этом не было ничего неожиданного: напротив, это отвечало насущной потребности. А галлюцинация эта свидетельствовала не столько о невежестве, сколько об

упорном непонимании. Во всяком случае, ее никак не затрагивало знание о китайском письме — ограниченное, но все же вполне реальное.

Одновременно с "китайским предрассудком" тот же самый эффект заинтересованного ослепления вызвал и "иероглифистский предрассудок". Непонимание, которое, казалось, порождалось этно-центристским презрением, приняло вид преувеличенного восхищения. Мы еще не выяснили окончательно, насколько подобная схема необходима. От нее не свободен и нынешний век: каждый раз, когда происходит бурное и шумное ниспровержение этноцентризма, на заднем плане сенсации потихоньку совершается усилие, направленное на то, чтобы укрепиться изнутри и извлечь из этого свою собственную выгоду. Так, удивительный отец Кирхер положил весь свой талант на то, чтобы открыть Западу египтологию [111], однако при этом получалось так, что само превосходство "возвышенного" письма не допускало его научной расшифровки. В связи с его работой "Prodromus coptus sive aegyptiacus" (1636) М.В.-Давид пишет:

“ Эта работа до некоторой степени выступает как первый манифест египтологических исследований, так как автор определяет здесь природу древнеегипетского языка, уже располагая средствами для этого открытия(а). Однако в этой книге проект расшифровки иероглифов полностью отвергается. Ср. "Lingua aegyptica restituta" [112].

Такое непонимание, вызванное ложным уподоблением, в данном случае не связано, как у Лейбница, с рациональностью и расчетом. Оно мистично:

“ Иероглифы, - говорится в "Prodromus", — это, конечно, письмо, но оно не состоит из букв, слов и определенных частей речи, которыми мы обычно пользуемся. Иероглифы — это гораздо более совершенное письмо, более возвышенное, более абстрактное, это письмо, которое - посредством искусственного нанизывания символов или чего-то подобного - разом (uno intuitu) предлагает уму мудреца некое сложное рассуждение, высокие понятия или же величайшую тайну, скрытую в лоне природы или Божества" [113].

Таким образом, рационализм и мистицизм оказываются сопричастными друг другу. Письмо «другого» оказывается каждый раз нагружено своими собственными схемами. То, что можно было бы назвать, вслед за Башляр, "эпистемологическим разрывом", осуществляется прежде всего благодаря Фрере и Уорбертону. Можно проследить за той тщательной работой, которая позволила им освободить от этих местных предрассудков в одном случае - китайский, в другом - древнеегипетский язык. Относясь к Лейбницу и самому проекту универсального письма с большим уважением, Фрере, однако, камня на камне не оставляет от лейбницева представления о китайском письме: "Китайское письмо вовсе не является тем совершенным философским языком, в котором нечего больше желать... Ничего подобного у китайцев никогда не было" [114].

Однако и Фрере не свободен от иероглифистского предрассудка, который так яростно обличает Уорбертон в своей критике отца Кирхера [115]. В ней немало апологетизма, но это

вовсе не исключает ее действенности.

Именно внутри расчищенного этой критикой теоретического поля начинают применяться — сначала аббатом Бартеlemi, а затем Шамполионом — научные приемы расшифровки. Так рождается систематическое изучение отношений между письмом и речью. Главная трудность здесь заключалась в том, чтобы исторически осмыслить и одновременно систематизировать упорядоченное сосуществование изобразительных, символических, абстрактных и звуковых элементов [116] в рамках единого графического кода.

Наука и имя человека

Вступила ли грамматология на надежный путь науки? Как известно, приемы расшифровки неустанно и ускоренно развивались²⁴. Однако общая история письменности, в которой забота о систематичности классификаций всегда направляла даже самое простое описание, надолго оставалась под влиянием теоретических понятий, не соответствующих важнейшим научным открытиям. Тех открытий, которые должны были бы поколебать самые прочные основания нашей философской системы понятий, всецело упорядоченной в определенную эпоху отношений между логосом и письмом. Все важнейшие истории письма начинаются изложением проекта, основанного на классификации и систематизации. Однако в наши дни к области письма можно было бы отнести то, что Якобсон некогда сказал о языках, начиная с шлегелевского типологического подхода:

“ Проблемы типологии в течение долгого времени имели спекулятивный до-научный характер. В то время как генетическая классификация языков делала гигантские шаги вперед, время для типологической классификации еще не наступило ” (там же, с. 69).

Систематическая критика понятий, которыми пользовались историки письменности, может всерьез взяться за обличение негибкости или недостаточной дифференцированности теоретического аппарата лишь после того, как будут вскрыты ложные очевидности, лежащие в основе самой этой работы. Действенность этих очевидно-стей связана с тем, что они принадлежат к самому глубокому, самому древнему и, по видимости, самому естественному и неисторичному слою нашей системы понятий, наиболее успешно скрывающихся от критики именно потому, что этот слой поддерживает, питает и формирует ее: это сама наша историческая почва.

Во всех историях или общих типологиях письма мы подчас встречаем признания, подобные тому, которое делает П. Берже в первой рупной "Истории письма в античности", появившейся во Франции в 1892 году: "Чаще всего факты не соответствуют разграничениям... верным лишь в теории" (с. XX). Речь шла ни много ни мало о разграничениях между фонетическим и идеографическим, слоговым и буквенным письмом, между образом и символом и т. д. То же относится и к инструменталистскому и техницистскому понятию письма, вдохновленному фонетической моделью, хотя соответствовать этой модели оно могло бы лишь в иллюзорной телеологической пер-

спективе, разрушаемой уже самыми первыми контактами с незападными видами письменности. Этот инструментализм так или иначе подразумевается повсюду. Однако его наиболее последовательную формулировку со всеми вытекающими из нее выводами мы находим у М. Коэна: раз язык есть "орудие", значит, письмо есть "приставка к этому орудью" [118]. Нельзя лучше выразить внеположность письма по отношению к речи, речи по отношению к мысли, означающего по отношению к означаемому как таковому. Предстоит еще выяснить, какую цену платит метафизической традиции лингвистика, или грамматология, которая в данном случае выдает себя за марксистскую. Однако ту же дань платят повсюду, и свидетельства тому — логоцентрическая телеология (это плеоназм); оппозиция природного и установленного; игра различий между символом, знаком, образом и др.; наивное понятие представления; некритически принимаемая оппозиция чувственного и умопостигаемого, души и тела; объективистское понятие собственного (propre) тела и разнообразия функций органов чувств (когда "пять чувств" рассматриваются как особые приспособления в распоряжении говорящего или пишущего); оппозиция между анализом и синтезом, абстрактным и конкретным, сыгравшая важнейшую роль в классификациях Ж. Феврье и М. Коэна, а также в споре между ними; само понятие понятия, мало проработанное традиционной философской рефлексией; ссылка на сознание и бессознательное, необходимо требующая более осторожного применения этих понятий и более внимательного отношения к исследованиям на эту тему [119]; понятие знака, редко и мало освещаемое в философии, лингвистике и семиологии. Соперничество (если оно вообще допускается) между историей письма и наукой о языке подчас переживается скорее как вражда, нежели как сотрудничество. Так, по поводу проведенного Ж. Феврье важнейшего различия между "синтетическим" и "аналитическим" письмом, а также по поводу понятия "слова", играющего при этом главную роль, автор замечает: "Проблема эта - лингвистическая, и мы не будем здесь ее рассматривать" (там же, с. 49). В другом месте Феврье так обосновывает отсутствие связи с лингвистикой:

“ [Математика] - это особый язык (langue), который не имеет никакого отношения к языку обычному (langage), это разновидность универсального языка; математика показывает (и это - моя месть лингвистам), что обычный язык совершенно не способен выразить некоторые формы современного мышления. И тогда-то письмо, ранее не признанное, перестает быть слугою языка и само занимает его место" (EP, p. 349).

Можно было бы показать, что все разделяемые здесь предпосылки и все выдвигаемые здесь оппозиции образуют единую систему: можно переходить от одной из них к другой внутри одной и той же структуры.

Таким образом, теория письма нуждается не только во внутринаучном и эпистемологическом освобождении (в духе Фрере и Уорбертона), не затронувшем, правда, самые основы обсуждаемого здесь события. Теперь возникает потребность в таком исследовании, в котором "позитивное" открытие и "деконструкция" истории метафизики, всех ее понятий подверглись бы взаимному контролю и тщательной проработке. Ведь без этого любое эпистемологическое освобождение останется иллюзорным и ограниченным: оно дает лишь некоторые практические удобства или понятийные упрощения, надстроенные

над незыблемыми, не затронутыми критикой основами. И в этом ограниченность замечательных исследований Гелба (I. J. Gelb, op. cit.): несмотря на все его достижения, на сам проект построения научной грамматики, использующей единую систему простых, гибких, удобных в употреблении понятий, несмотря на отказ от неадекватных понятий (таких, как "идеограмма"), большинство вышеперечисленных понятийных оппозиций продолжают спокойно работать и здесь.

Однако на основе новейших работ в этой области можно представить себе, какой должна стать в будущем широко понимаемая грамматология, если она откажется от заимствования понятий других гуманитарных наук или — что почти то же самое — традиционной метафизики. Об этом можно судить по богатству и новизне информации, а также ее истолкования, хотя ее понятийное осмысление - даже в этих новаторских работах - остается робким и ненадежным.

А это, по-видимому, означает, что, с одной стороны, грамматология не должна быть одной среди многих гуманитарных наук, а с другой стороны, она не должна быть рядовой *региональной наукой*.

Она не должна быть *одной среди многих гуманитарных наук*, поскольку ее главный вопрос — это проблема имени человека. Выявить единство понятия человека — это несомненно значит отказаться от старого понятия "бесписьменных" народов или же народов, "лишенных истории". А. Леруа-Гуран хорошо показывает, что отказ назвать другого человека человеком и отказ признать, что люди из другого сообщества тоже умеют писать, — это, по сути, единый жест. На самом же деле у так называемых бесписьменных народов нет лишь письма в узком смысле слова, а вовсе не письма вообще. Отказ назвать тот или иной способ записи "письмом" - это "этноцентризм, который ярче всего характеризует донаучное представление о человеке": он одновременно приводит и к тому, что «во многих человеческих группах единственным словом для обозначения членов своей собственной этнической группы оказывается слово "человек"» (GP, 11, p. 32 et passim).

Однако было бы недостаточно обличить этноцентризм и определить единство человеческого рода через способность к письму. А. Леруа-Гуран вовсе не связывает единство человека и общность его судьбы с определенными навыками письма: скорее он трактует определенный этап или узел (articulation) истории жизни - или того, что мы называем различием, - как историю граммы. Леруа-Гуран не обращается к тем понятиям, которые обычно используются для выделения человека среди других живых существ (инстинкт и разум, отсутствие или наличие речи, общества, экономики и т. д.); вместо этого он говорит о программе. Конечно, трактовать это понятие следует в кибернетическом смысле слова, однако и саму кибернетику можно осмыслить лишь на основе истории возможности следа как единства двойного движения - предвосхищения и удержания. Это движение выходит далеко за рамки возможностей "интенционального сознания". Оно порождает грамму как таковую (в соответствии с новой структурой не-наличия) и несомненно делает возможным появление систем письма в узком смысле слова. Начиная с "генетической записи" и "коротких цепочек" программ, управляющих поведением амебы, вплоть до выхода за пределы буквенного письма к порядку логоса и homo sapiens, сама возможность граммы структурирует движение ее истории сообразно уровням, типам, строго

своеобразным ритмам [120]. Однако мыслить их без наиболее общего понятия граммы - неустраняемого и неотъемлемого - невозможно. Согласно смелой гипотезе А. Леруа-Гурана, речь идет об "освобождении памяти", о вынесении вовне — всегда уже начавшемся, но все более настойчивом - следа, который, начиная с элементарных или "инстинктивных" программ поведения вплоть до создания электронных каталогов и считывающих устройств, расширяет область различия и возможность создания запасов: эта тенденция одновременно, единым движением, и учреждает, и стирает так называемую сознающую субъективность, ее логос, ее теологические атрибуты.

История письма строится на основе истории граммы — ряда рискованных перипетий в отношениях между лицом и рукой. Здесь, опять-таки из предосторожности, мы уточним, что историю письма невозможно объяснить на основе того, что нам, казалось бы, известно о лице и руке, о взгляде, речи и жесте. Напротив, требуется потревожить это привычное нам знание, оживить на основе этой истории смысл руки и смысл лица. А. Леруа-Гуран описывает медленное преобразование моторики руки, в результате которого аудио-фоническая система высвобождается для речи, а взгляд и рука - для письма [121]. Во всех этих описаниях трудно избежать механистического, техницистского, телеологического языка - причем как раз в тот момент, когда требуется обнаружить (перво)начало и возможность движения, механизма, *techné* и вообще ориентации. По правде говоря, это не просто трудно, но, по сути, невозможно ни в каком типе речи. Различие между разными типами речи (*discours*) касается лишь способа их обитания внутри системы понятий, которая обречена на разрушение или уже разрушена. Внутри этой системы понятий (но уже как бы без нее) следует попытаться воссоздать единство жеста и слова, тела и языка, орудия и мысли, не дожидаясь того момента, когда проявится своеобразие того или другого, и не допуская, чтобы эти глубинные единства приводили к смешению всего и вся. Не следует смешивать эти самобытные значения в кругу той системы, где они противопоставляются. Чтобы помыслить историю этой системы, нужно найти выход за орбиту ее смыслов и значений.

Таким образом, мы приходим к следующему представлению об *anthropos*: это хрупкое равновесие, связанное с письмом рукой для глаза (*manuelle-visuelle*) [122]. Это равновесие находится под угрозой постепенного разрушения. Нам уже известно, что "никакое существенное изменение", которое привело бы к появлению "человека будущего", которого и человеком-то назвать трудно, "не может произойти без утраты функций руки, зубов и, следовательно, способности к прямохождению. Беззубое человечество, которое стало бы жить лежа, нажимая на кнопки остатками передних конечностей, - этот образ не так уж невероятен" [123].

Угроза этому равновесию — это одновременно и помеха *линейности* символа. С этим связано традиционное понятие времени и вся организация мира и языка. Письмо в узком смысле слова - прежде всего фонетическое - укоренено в том, что предшествовало нелинейному письму. Это прошлое и нужно было победить, и эта победа стала техническим достижением, обеспечившим большую надежность и размах накопления в опасном и тревожном мире. Но все это невозможно было сделать раз и навсегда. Начались война и вытеснение всего, что как-то сопротивлялось линеаризации. И прежде всего того, что Леруа-Гуран называет "мифограммой", а именно письма, символы которого были многомерными: смысл тут не подчинен последовательности, порядку логического времени или же необратимой

временности звука. Эта многомерность не парализует историю в ее сиюминутности, скорее она соответствует иному слою исторического опыта, так что можно, напротив, рассматривать линейное мышление как редукцию истории. Правда, в этом последнем случае нам, видимо, придется пользоваться другим словом, так как слово "история" всегда связывалось с линейной схемой развертывания наличия и предполагало сведение конечного наличия к изначальному наличию — при движении по прямой линии или же по кругу. По той же самой причине многомерная символическая структура не может быть дана одномоментно. Одномоментность соотносит между собой два абсолютно настоящих момента, две точки или инстанции наличия, и остается линейным понятием.

Понятие *линеаризации* гораздо действеннее, точнее и уместнее тех понятий, которые обычно используются для классификации различных видов письма и описания их истории (пиктограмма, идеограмма, буква и пр.). Обличая сразу несколько предрассудков, в особенности вокруг соотношений между идеограммой и пиктограммой и так называемого графического «реализма», Леруа-Гуран напоминает нам, что в мифограмме едино все то, что затем распадается в линейном письме, а именно техника (особенно графическая), искусство, религия, экономика. Чтобы найти доступ к этому единству, к этой особой структуре единства, следует снять почвенные наслоения "четырёх тысячелетий линейного письма" [124].

Линейная норма никогда не могла утвердиться целиком и полностью по тем же причинам, которые изнутри ограничивали графику фонетического письма. Теперь мы их знаем: эти границы возникли одновременно с возможностью того, что, собственно, они ограничивали; они давали начало тому, конец чего отмечали; их имена - сдерживание, различание, разбивка. Выработка линейной нормы, таким образом, давила на эти границы и оставляла свои отпечатки на понятиях символа и языка. Следует помыслить одновременно процесс линейного упорядочивания, который Леруа-Гуран описывает на большом историческом материале, и якобсоновскую критику линейности у Соссюра. "Линия" - это лишь одна из моделей, хотя и имеющая свои преимущества. Она стала (и осталась) образцом выше всякой критики. Если принять, что линейность речи неразрывно связана с расхожим мирским понятием временности (однородной, подчиненной форме данного момента и идеалу непрерывного движения по прямой линии или по кругу) — понятием, которое, по мнению Хайдеггера, определяет изнутри любую онтологию от Аристотеля до Гегеля, то тогда размышление о письме и деконструкция истории философии становятся неотделимыми друг от друга.

Загадочная модель линии есть то, что философия как раз и не могла увидеть, всматриваясь широко открытыми глазами внутрь своей собственной истории. Эта тьма немного рассеивается в тот момент, когда линейность — не утрата и не отсутствие, но скорее способ вытеснения многомерной символической мысли [125] - несколько ослабляет свое давление, ибо иначе оно становится тормозом научно-технической экономики, которую она долгое время поддерживала. Собственная возможность линейного письма издавна была структурно соотнесена с возможностью экономики, техники и идеологии. Эта соотнесенность проявлялась в процессах тезавризации, накопления капиталов, развития оседлости, иерархизации, формирования идеологии классом тех, кто умеет писать или же имеет писцов в своем распоряжении [126]. Дело не в том, что массовое распространение

нелинейного письма прерывает эту структурную соотнесенность — совсем наоборот. Однако оно глубоко преобразует ее природу.

Конец линейного письма — это конец книги [127], даже если еще и сегодня именно в виде книги так или иначе собираются воедино новые формы письма — литературного или теоретического. Впрочем, речь идет не столько о том, чтобы собрать под обложкой книги неизданные письма, сколько о том, чтобы наконец прочитать в этих томах то, что издавна писалось между строк. Вот почему начало нелинейного письма потребовало перечесть все прежде написанное — но уже в другой организации пространства. Проблема чтения — это сейчас передний край науки именно потому, что мы находимся сейчас в подвешенном состоянии (*suspens*) между двумя эпохами письма. Коль скоро мы начинаем писать, и писать по-новому, мы должны учиться иначе читать.

Вот уже более века мы наблюдаем это беспокойство философии, науки, литературы; все происходящее в них перевороты должны трактоваться как сотрясения, мало-помалу разрушающие линейную модель. Или, иначе, эпическую модель. То, что нынче требует осмысления, уже не может быть линейной записью, внесенной в книгу: в противном случае мы уподобимся тем, кто преподает современную математику с помощью конторских счетов. Это несоответствие нельзя назвать современным (*moderne*), но теперь оно выдает себя сильнее, чем когда-либо раньше. Доступ к многомерности и нелинейной временности не означает простого сведения к "мифограмме": напротив, рациональность, подчиненная линейной модели, раскрывается тем самым как иная форма и иная эпоха мифографии. Мета-рациональность и мета-научность, которые тем самым возвещают о себе в размышлениях о письме, уже не могут ни замыкаться в науке о человеке, ни соответствовать традиционному понятию науки. Единым движением они пересекают человека, науку и линию.

И тем более очевидно, что остаться в рамках какой-либо *региональной науки* это размышление уже не может.

Ребус и соучастие (перво)начал

Возьмем для примера графологию. Пусть это будет новая графология, оплодотворенная социологией, историей, этнографией, психоанализом.

“Как индивидуальные следы обнаруживают духовные особенности пишущего, так национальные следы должны в какой-то мере позволить нам раскрыть особенности коллективного духа народов” [128].

Хотя проект такой культурной графологии вполне имеет право на существование, она может возникнуть и сколько-нибудь успешно развиваться лишь после прояснения некоторых общих и фундаментальных проблем: какова сорасчлененность индивидуальной и коллективной манеры письма, графии, графического "дискурса" и "кода", рассматриваемых не сточки зрения интенции означения или же денотации, но с точки зрения стиля и коннотации; сорасчлененность (*articulation*) графических форм и различных субстанций, раз-

личных форм графических субстанций (или веществ, как-то: дерево, воск, кожа, камень, чернила, металл, растения) или орудий (резец, кисточка и т. д.); какова сорасчлененность технического, экономического или исторического уровней (например, в момент создания графической системы и в момент возникновения графического стиля - а они не обязательно совпадают); границы и смысл стилистических вариаций внутри системы; всевозможные внутренние нагрузки графин с ее собственной формой и субстанцией.

И с этой последней точки зрения следовало бы признать определенные преимущества психоаналитических исследований. Так как психоанализ затрагивает проблемы первичного конституирования объективности и значимости объекта - мы имеем в виду построение хороших и плохих объектов как категорий, не выводимых из формальной теоретической онтологии и из науки об объективности объекта вообще, - он не является обычной региональной наукой, хотя и считает себя, судя по его названию, частью психологии. То, что он держится за это название, конечно, не случайно и свидетельствует об определенном состоянии критики и эпистемологии. Однако, даже если бы психоанализ и не достигал вычеркнутой трансцендентальности прото-следа, если бы он оставался мирской наукой, все равно сама его общность обеспечивала бы ему командную роль по отношению ко всякой региональной науке. Здесь мы, конечно, имеем в виду работы Мелани Кляйн и ее последователей. Например, очерк "Роль школы в либидинальном развитии ребенка" [130], в котором с клинической точки зрения разбираются внутренние нагрузки процессов чтения и письма, построения и использования цифр и проч. Так как конституирование идеальной объективности не может обойтись без письменного означающего [131], никакая теория такого конституирования не может пройти мимо внутренних нагрузок процесса письма. Эти нагрузки не просто остаются непрозрачным элементом в идеальности объекта, но и позволяют идеальности выйти на свободу. Они придают силу, без которой объективность вообще не была бы возможна. Мы отдаем себе отчет в серьезности такого утверждения и в чрезвычайной сложности задачи, встающей в этой связи и перед теорией объективности, и перед психоанализом. Однако потребность в решении этой проблемы соразмерна ее трудности.

Историк письма сталкивается с этой потребностью в своей работе. Его проблемы можно ставить лишь на уровне оснований всех наук. Размышления о сущности математики, политики, экономики, религии, техники, юриспруденции и пр. внутренне связаны с осмыслением сведений из истории письма. Стержень, скрепляющий все эти области размышлений в некое фундаментальное единство, — это общий интерес к процессу фонетизации письма. У этого процесса есть своя история, которая затрагивает все способы письма, хотя обращения к понятию истории недостаточно, чтобы разрешить эту загадку. Это понятие возникает, как известно, в определенный момент процесса фонетизации письма и предполагает ее по самой своей сути.

Каковы наиболее свежие, надежные, заслуживающие доверия сведения на этот счет? Прежде всего обнаружилось, что по причинам структурного и сущностного характера чисто фонетическое письмо в принципе невозможно и что процесс замены нефонетического письма фонетическим продолжается и поныне. Разграничение между фонетическим и нефонетическим письмом, сколь бы законным и необходимым оно ни было, остается чем-то вторичным и производным по отношению к тому, что можно было бы назвать некоей

основоположной синергией или синестезией. А из этого следует не только то, что фонетизм никогда не был всевластным, но также и то, что он всегда уже начал прорабатывать немое означающее. Таким образом, "фонетический" и "не-фонетический" - это не чистые качества определенных систем письма, но скорее абстрактные признаки неких типических элементов — более или менее многочисленных, более или менее влиятельных - внутри означающей системы как таковой. Значимость этих элементов связана, впрочем, не столько с количественным распределением, сколько с их структурной организацией. Клинопись, например, это одновременно и идеограмматическое и фонетическое письмо. Тут невозможно даже отнести каждое графическое означающее к тому или иному классу, поскольку клинописный код действует то в одном, то в другом регистре. По сути, каждая графическая форма может иметь двойную значимость — идеографическую и фонетическую. А ее фонетическая значимость может быть простой или сложной. Одно и то же означающее может иметь одно или несколько звуковых значений, оно может быть гомофонным или полифоническим. К этой общей сложности системного порядка добавляются еще категориальные определители, бесполезные при чтении фонетические дополнения, а также весьма непоследовательная пунктуация. Р. Лаба показывает, что понять систему вне ее истории невозможно [132].

Это относится к любой системе письма и не зависит от того, что подчас поспешно трактуется как степень его разработки. Например, в структуре рассказа, представленного пиктограммой, изображение вещи, скажем тотемный знак, может получить символическую значимость собственного имени. С этого момента такое изображение становится способом именования и может приобретать в других цепочках определенное фонетическое значение [133]. Оно может стать сложным, многоуровневым образованием, не доступным — при его непосредственном использовании - эмпирическому осознанию. Выходя за рамки актуального сознания, структура этого означающего действует не только на обочинах виртуального сознания, но и в законах бессознательного.

Как мы видим, имя, и особенно так называемое собственное имя, всегда включено в цепочку или систему различий. Оно может стать названием лишь в составе изображения. Собственный смысл имени (*le propre du nom*) подлежит разбивке независимо от того, связано ли оно изначально с изображением вещей в пространстве или же включено в систему звуковых различий или социальной классификации, явным образом не зависящую от пространства в его обычном понимании. Метафора прорабатывает собственное имя. Собственного (*propre*) смысла не существует, но его "видимость" играет важную роль: как таковую ее и надо анализировать в системе различий и метафор. Абсолютная явленность (*parousia*) собственного смысла (*propre*) как самоналичия логоса в голосе, в абсолютном "слушании собственной речи" (*s'entendre parler*) должна иметь место - как функция, отвечающая непреложной, но относительной необходимости, -внутри объемлющей ее системы. А это вновь ставит перед нами вопрос о месте метафизики или онто-теологии логоса.

В проблеме ребуса с трансфером все эти трудности собраны воедино. Изображение вещи в пиктограмме может иметь и фонетическую значимость, что вовсе не устраняет "пиктографическую" отнесенность к предмету, которая никогда не была чисто "реалистической". Означающее дает трещину, разветвляется в систему: оно одновременно

отсылает (по крайней мере) и к вещи, и к звуку. Вещь сама по себе уже есть совокупность вещей или же цепочка различий "в пространстве"; звук, который также вписан в эту цепочку, может стать словом, и тогда мы получим идеограмматическую или же синтетическую запись, которую нельзя разложить на отдельные элементы, однако звук может быть и атомарным элементом, входящим в сочетания с другими элементами, и тогда мы имеем дело с письмом, внешне похожим на пиктографическое, а по сути — фонетико-аналитическим, вроде алфавита. То, что нам ныне известно о письме ацтеков в Мексике, кажется, использует все эти различные возможности.

“ "Так, собственное имя Теокалтитлан расчленяется на несколько слогов, соответствующих ряду изображений: губы (tentli), улица (otlim), дом (calli), зуб (tlanti). Вся процедура заключается в том... чтобы передать имя персонажа, изображая те предметы или те существа, которые входят в состав его имени. Ацтеки еще ближе подошли к фонетическому письму. Они научились изображать отдельные звуки, прибегая к настоящему фонетическому анализу" [134].

Хотя Бартель и Кнорозов в своих работах о глифах майя не приходят к взаимно согласованным результатам и крайне медленно продвигаются вперед, наличие фонетических элементов становится теперь почти очевидным и здесь. То же относится и к письмам Острова Пасхи [135]. В данном случае мы не только сталкиваемся с пикто-идеофонографическим письмом: внутри этих нефонетических структур — двусмысленных и сверхдетерминированных — могут возникать метафоры, подхватываемые и развиваемые, как ни странно это звучит, настоящей *графической риторикой*.

Эти сложные структуры обнаруживаются ныне в письменах так называемых "первобытных народов", а также в тех культурах, которые считаются "бесписьменными". Однако нам давно уже известно, что в состав китайского или японского письма — в основном нефонетического — очень рано были включены и фонетические элементы. Конечно, в этой общей структуре господствовала идеограмма или алгебра, а это показывает, что мощный поток цивилизации развивался вне какого-либо логоцентризма. Письмо вовсе не редуцирует голос как таковой, но лишь включает его в свою систему:

“ "Это письмо в той или иной мере прибегало к использованию звуков, причем в некоторых его знаках важно было именно их звучание, независимо от их изначального смысла. Однако это фонетическое использование знаков никогда не распространялось настолько широко, чтобы в принципе изменить китайское Письмо, перевести его на путь фонетической записи .. Поскольку письмо в Китае не достигло фонетического анализа языка, оно никогда не рассматривалось как более или менее верная копия речи, и потому графический знак — символ реальности, столь же уникальной и самобытной, как и оно само, — смог во многом сохранить свои первоначальные привилегии. Вряд ли есть основания думать, что устное слово в древнем Китае было менее действенно, чем письмо, однако можно предположить, что его власть отчасти затмевалась властью письма. Напротив, в тех цивилизациях,

где письмо достаточно рано эволюционировало в сторону слогового письма или же алфавита, именно слово прочно сосредоточило в себе всю мощь религиозного и магического творчества. И в самом деле, в Китае мы не видим той высочайшей оценки речи, слова, слога или гласной, которая свойственна всем великим древним цивилизациям - от средиземноморского бассейна до Индии" [136].

Вряд ли можно не согласиться в целом с этим анализом. Отметим, однако, что "фонетический анализ языка" и фонетическое письмо предстают как нормальный "итог", как исторический телос, в виду которого китайское письмо - словно корабль, державший курс на гавань, — так и не достигло цели. Можно ли считать, будто китайское письмо - это какой-то неудачный алфавит? Ведь Ж. Жер-не объясняет "первоначальное влияние" китайского письма его "символическим" отношением к "реальности, столь же уникальной и самобытной, как и оно само". Разве не очевидно, что никакое означающее, независимо от его субстанции и формы, не обладает "уникальной и самобытной реальностью"? Означающее с самого начала предполагает возможность своего собственного повторения, своего образа или подобия. И в этом — условие его идеальности, то, что делает его означающим, позволяет ему функционировать в качестве означающего, связывает его с означаемым, которое, по тем же самым причинам, никогда бы не могло стать "уникальной и самобытной реальностью". С того самого момента, как возникает знак (т. е. изначально), у нас нет никакого шанса встретить где-то "реальность" в чистом виде, "уникальную" и "самобытную". В конце концов, по какому праву мы предполагаем, что речь "в древности", еще до рождения китайского письма, могла иметь тот смысл и значение, которое мы придаем ей на Западе? Почему, собственно, речь должна была "затмеваться" письмом? Если мы хотим попытаться понять, проработать то, что — под именем письма — больше разделяет людей, чем другие приемы записи, не следует ли нам избавиться наряду с другими этноцентристскими предрассудками и от своего рода графического моногенетизма, который преобразует все различия в отрывы и опоздания, случайности и отклонения? Не следует ли разобраться с этим гелиоцентрическим понятием речи? С уподоблением логоса солнцу (как благу или же смерти, которую нельзя увидеть перед собой), царю или отцу (благо или умопостигаемое солнце уподобляются отцу в "Государстве", 508с)? Каким должно быть письмо, чтобы угрожать этой системе аналогий в самом ее уязвимом, тайном средоточии? Каким должно быть письмо, чтобы затмевать Благо и Отца? Не пора ли прекратить считать письмо затмением, которое внезапно скрывает славу Слова? А если затмение хотя бы отчасти необходимо, то не следует ли иначе взглянуть на само соотношение тени и света, письма и речи?

Что здесь значит это слово - «иначе»? Прежде всего то, что необходимая децентрация не может быть философским или научным действием как таковым, поскольку дело идет о том, чтобы - найдя доступ к другой системе связи между речью и письмом - разрушить обосновывающие категории языка и саму грамматику эпистемы. Естественная тенденция теории (того, что объединяет философию и науку в эпистеме) заставляет их скорее заделывать дыру, нежели ломать забор (clôture). Естественно, что более мощный и резкий удар здесь наносят литература и поэзия; естественно также, что при этом (например, у Ницше) затрагивались и колебались трансцендентальный авторитет и бытие как главная категория эпистемы. И в этом - смысл работ Феноллозы [137], оказавшего, как известно,

большое влияние на Эзру Паунда и его поэтику; эта неискоренимо графическая поэтика наряду с поэтикой Малларме впервые подорвала глубинные основы западной традиции. Гипнотизирующее воздействие китайской идеограммы на письмо Эзры Паунда обретает здесь все свое историй-ное (historiale) значение.

Как только встает вопрос об истоках фонетического письма, его истории и судьбе, мы замечаем, что этот процесс совпадает с развитием науки, религии, политики, экономики, техники, права, искусства. Истоки этих процессов и начала этих исторических областей сорасчлняются вовсе не так, как этого требовало бы строгое определение границ каждой отдельной науки посредством абстракции, -об этом следует помнить и быть осторожным. Это сплетение, соучастие всех (перво)начал можно назвать прото-письмом. В нем растворяется миф о простоте (перво)начала. Этот миф связан с самим понятием (перво)начала — с повествованием о (перво)начале, с мифом о (перво)начале, а не только с первобытными мифами.

То, что доступ к письменному знаку дает священную силу, обеспечивающую существование в следе и познание общей структуры вселенной; то, что все духовенство, независимо от того, обладало ли оно политической властью, возникло одновременно с письмом и использовало власть письма; то, что военная стратегия, баллистика, дипломатия, сельское хозяйство, сбор налогов, уголовное право связаны в своей истории и в своей структуре с возникновением письма; то, что происхождение письма всегда описывается схемами или цепочками мифом, которые весьма сходны в самых различных культурах, а рассказы об этом всегда имеют запутанный вид и зависят от распределения политической власти и от семейных структур; то, что возможность накопления и создание политико-административных учреждений всегда зависели от писцов, которые были ставкой в многочисленных войнах и выполняли некую необходимую функцию — независимо от того, какие группы людей, сменяя друг друга, ее осуществляли; то, что, несмотря на все смещения, неравномерности развития, игру постоянств, промедлений, размываний и пр., остается нерушимой связь между идеологическими, религиозными, научно-техническими и другими системами и системами письма, в которых видят нечто большее и нечто иное, нежели просто "средства коммуникации" или носителей означаемого; то, что сам смысл власти и вообще эффективности, всегда связанный с письмом, мог проявиться как таковой — т. е. как смысл и как овладение (посредством идеализации) — лишь одновременно с так называемой "символической" властью; то, что экономика — денежная или доденежная — и письменное исчисление родились одновременно; то, что не существует права без возможности следа (или, как показывает Леви-Брюль, без записи в узком смысле слова), — все это отсылает к некоей общей глубинной возможности, которую не могут помыслить как таковую ни одна конкретная наука, ни одна абстрактная дисциплина [138]. В самом деле, нам нужно разобраться здесь с этой *некомпетентностью* науки, которая также есть некомпетентность философии, *замкнутость* (clôture) эпистемы. Это не призыв вернуться к донауч-ной или недо-философской речи. Напротив. Этот общий корень, который не является корнем, но скорее сокрытием (перво)начала, и не является общим, поскольку он приводит к общему лишь посредством упорной и достаточно разносторонней работы различения, это безымянное движение *самого различения*, которое мы из стратегических соображений назвали следом, запасом или различАнием, может быть названо письмом лишь внутри определенной *исторической* замкнутости (clôture), т. е. в пределах науки и философии.

Построение науки или философии письма - это необходимая и трудная задача. Однако подвигая к этим пределам и неустанно повторяя свои доводы, мысль о следе, различАнии и запасе должна также указывать вовне, за пределы поля эпистемы. Вне тех "экономических" или стратегических отсылок к слову "мысль", которым Хайдеггер ныне считает возможным называть похожее, хотя и не тождественное превзойдение всякой философемы, мысль для нас здесь - слово совершенно нейтральное: это пробел в тексте, это, по необходимости, неопределенное свидетельство наступающей эпохи различАния. *В некотором смысле, "мысль" здесь ничего не значит (ne veut rien dire).* Как и всякая открытость, это свидетельство обращено своей видимой гранью внутрь ушедшей эпохи. Эта мысль ничего не весит. В игре системных взаимодействий она есть именно то, что никогда ничего не весит. "Мыслить" - это занятие, за которое мы, конечно, даже еще и не принялись: мыслить - это значит починать эпистему резцом своего письма.

Если бы эта мысль осталась в пределах грамматиологии, она и поныне была бы замурована и обездвижена наличием.

Версия #3

Зверобой создал 4 марта 2026 22:29:27

Зверобой обновил 4 марта 2026 23:28:16